Основательное знакомство учащихся с текстом произведения, тщательное наблюдение над формой, единство формы и содержания — вот руководящие, как нам кажется, начала при ведении курса литературы.

Занятия родным языком, именно языком, а не только литературой, должны проходить через все классы, а потому и объединены с преподаванием курса литературы.

Такие соображения заставляют обращать больше внимания на самостоятельную, творческую в широком смысле этого слова работу самих учащихся. На первый план выдвигается сначала индивидуальная работа ученика, работа скорее внутренняя, чем внешняя, а затем и коллективная работа всего класса. Здесь применимы все методы литературных разборов сообразно с пожеланиями преподавателя.

ИССЛЕДОВАНИЯ

О. Николаев

ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО БОГАТЫРСТВА

(Из наблюдений над стихотворением М. Ю. Лермонтова «Бородино»)

Статья посвящена одному из наиболее популярных текстов русской поэзии — стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино». Автор исследования рассматривает «Бородино» в качестве феномена хрестоматийного текста русской культуры, анализирует факторы, влияющие на превращение художественного произведения в хрестоматийный элемент, выявляет механизмы передачи исторической и культурной памяти.

Ключевые слова: русская классика, русская поэзия, М. Ю. Лермонтов, война 1812 года, историческая память

...помнит вся Россия про день Бородина!

Стихотворение М. Ю. Лермонтова — один из непреложных хрестоматийных текстов русской поэзии. С 1846 г. — «Книга для чтения и упражнений в языке, составленная для уездных училищ и низших классов гимназий» И. С. Пенинского — оно постоянно включалось в учебные хрестоматии, рекомендованные для учебных заведений в дореволюционной России. В советскую и постсоветскую эпохи «Бородино» всегда находилось в программах по литературе для средней школы; изучается оно и сейчас, в 7-м классе. Вхождение стихотворения в хрестоматийный канон вряд ли когда-либо подвергалось сомнению.

Лермонтовское «Бородино» явно относится к национальному фонду *текстов-символов*, которые стоит добавить к реестру национальной памяти, очерченному А. М. Панченко: «В памяти нации есть люди-символы и есть события-символы» [Панченко 1984, с. 201]. Мало того, рискну предположить, что и память о Бородине как событии-символе во многом обязано лермонтовскому тексту-символу.

Лермонтов написал стихотворение к 25-летней годовщине Бородинской битвы — это срок, когда начинает уходить из общественного сознания память очевидцев, наступает время *долгой* памяти.

Как и в какой форме это событие должно остаться в «большом времени» (по М. М. Бахтину)? Очевидно, Лермонтов и следует этой подспудной заданной самой культурной историей функции — он создает своим стихотворением *формулу события* — настолько убедительную, что нам сложно сказать, что мы вспоминаем, когда слышим слово *Бородино* — стихотворение Лермонтова или само великое сражение.

Трактовать «Бородино» как патриотическую декларацию не стоит особого труда, чем и воспользовалась советская эпоха, окружив стихотворение Лермонтова огромным количеством высоких («лозунговых») слов, само сгущение которых ведет к их неизбежному смысловому опустошению. Инерция эта продолжает быть действенной — просмотрев интернет-сайты, предлагающие образцы сочинений и рефератов, я обнаружил все те же риторические упражнения, на все лады — то грубо, то искусно — расцвечивающие штампами слоган: «Стихотворение ‘Бородино’ — гимн героизму русского народа».

Но удивительное дело — «Бородино» не удалось превратить в средство военно-патриотической пропаганды, что-то в нем упорно сопротивляется этому. «Бородино» продолжает жить параллельно со своими плакатными двойниками. Оно распыляется в речевом обиходе на цитаты; сложно найти русского человека, который ни разу в своей жизни не употреблял фраз: «Скажи-ка, дядя…», «Да, были люди в наше время…», «Смешались в кучу кони, люди…» «Бородино» запоминается чуть ли не целиком на слух маленькими детьми, которым в первый раз его прочитали родители (советую провести эксперимент со своими детьми или внуками — увидите!) или просто всплывает в памяти отдельными формулами.

В «Бородине», как и в некоторых других стихотворениях Лермонтова (например, в «Завещании»), явно заключена некая тайна — нечто, что завораживает, не отпускает… пытается сообщить что-то очень и очень важное. И это важное явно не объясняется патриотическими штампами и лозунгами, хотя и имеет к тому, что называется патриотизмом, самое прямое и непосредственное отношение.

Л. В. Пумпянский в статье 1941 г. «Стиховая речь Лермонтова», писал, что главной темой «Бородина» является не само сражение, а *наследование* традиции патриотизма:

> В «Бородине» передается от старшего к младшему <…> одна из величайших традиций народной истории, одна из тех традиций, без вечной передачи которых народ перестает быть историческим народом, потому что теряется преемство его исторической жизни, — передается традиция патриотизма. Думаем, что эта передача (а не самое изображение битвы) является главной темой «Бородина», а батальная сторона народной оды уже подчинена этой главной теме и потому рассказана в формах речи и красках, предуказанных ею [Пумпянский 1941, с. 411–412].

Начиная с В. Г. Белинского («…это стихотворение отличается простотою, безыскусственностью: в каждом слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время благороден, силен и полон поэзии» [Белинский 1941, с. 160]), стиль «Бородина» привлекал особое внимание критиков и ученых. Влияние лубка, имитация разговорной речи и использование просторечных формул — все это резко выделяло «Бородино» на фоне традиции батальной поэзии, что позволило Пумпянскому сделать вывод: «Лермонтов создал совершенно новый жанр народной оды, ничего общего не имеющей со старой одой» [Пумпянский 1941, с. 412].

Накопление стилистических наблюдений над «народной одой» в науке шло (и идет!) вполне успешно. Последняя статья о «Бородине» (уже посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года) также изобилует ими, разворачивая тезис: «Народность лермонтовской поэзии бесспорна» [Кормилов 2011]. Но вот только вопрос: *что* скрывается за «формами речи и красками», «предуказанными» темой наследования патриотизма, — остается открытым. Вроде бы разобравшись с тем, *как* передается традиция, мы по-прежнему не можем понять, *что* же именно передается. Л. В. Пумпянский, отстаивая художественный статус разговорной речи в «Бородине», пишет: «Несмотря на тяжесть *прегнантного смыслового груза*[1], разговорная речь — по-своему чрезвычайно точная речь, ее ракурсы безупречны…» [Пумпянский 1941, с. 410].

Какой же *смысловой груз* передает эта «точная речь» со своими «безупречными ракурсами» в стихотворении Лермонтова? К каким смыслам взывает созданная поэтом формула исторической памяти о Бородинской битве? Из чего состоит патриотический опыт, который должен наследоваться (если мы хотим вырваться из плена советского плаката с его идеологизированным плоским пониманием «любви к Родине»)?

К решению этих вопросов приблизился А. М. Панченко в своих размышлениях о национальной концепции войны и той топике, в которой она воплощается, приведенных в главке «О топике культуры (вместо заключения)» книги «Русская культура в канун петровских реформ». По Панченко, «loci communes» («общие места»), наследу-

ющиеся через века, собственно говоря, и являются формой и содержанием национальной культурной памяти (и как частный случай, патриотического опыта): «Чрезвычайно важно, что в них нераздельно слиты аспект поэтический и аспект нравственный» [Панченко 1984, с. 201]. Рассматривая ряд событий-символов: Куликовская битва, Полтавская баталия, Бородинское сражение, — Панченко приходит к выводу, что «нация запомнила и сделала символами победы на грани поражений, победы с громадными потерями»:

> …все это вынужденные сражения. Россия защищалась, следовательно, была безусловно права. Это сражения на родной земле или на ее рубеже, как Мамаево побоище на Дону. Россия не посягала на чужое, она опять-таки была права. Для нации эти битвы были нравственной заслугой. Без нее символ невозможен» [Панченко 1984, с. 201].

Но культурная память так устроена, что она не может транслировать нравственные принципы и оценки в чистом виде. Ценностное измерение обязательно должно быть «материализовано» в устойчивых сюжетных ситуациях, образах, «художественных деталях»: «…а совпадение деталей всегда красноречиво, особенно если исключено прямое заимствование» [Панченко 1984, с. 202]. А. М. Панченко приводит пример такого «совпадения через века»:

> Вернемся еще раз к «испытанию примет» в «Сказании о Мамаевом побоище»: «И обратився на плък татарский, слышить стук велик и кличь и вопль, аки тръги снимаются, аки град зиждуще и аки гром великий гремить <...> И обратився на плък русский, — и бысть тихость велика». О такой же ночи вспоминает старый солдат из лермонтовского «Бородина»:
>
> ... И вот на поле грозной сечи
> Ночная пала тень.
> Прилег вздремнуть я у лафета,
> И слышно было до рассвета,
> Как ликовал француз.
> Но тих был наш бивак открытый..
>
> В действительности это невероятно: громадные русские армии и на Куликовом, и на Бородинском поле не могли пребывать «в тихости великой». Эти поразительно похожие сцены порождены национальной топикой, равно обязательной для автора «Сказания» XV в. и автора «Бородина» XIX в.» [Панченко 1984, с. 202–203].

«Шум — тишина» суть звуковая ипостась нравственного противопоставления: «гордыня — смирение». В стихотворении «Поле Бородина» (1830 или 1831), ранней романтической версии поэтического рассказа о Бородинском сражении, эта топика отсутствовала:

> Всю ночь у пушек пролежали
> Мы без палаток, без огней,

> Штыки вострили да *шептали*
> *Молитву* родины своей.
> *Шумела буря* до рассвета;
> Я, голову подняв с лафета,
> Товарищу сказал:
> «Брат, слушай *песню непогоды*:
> Она дика, как *песнь свободы*».
> Но, вспоминая прежни годы,
> Товарищ не слыхал[2].

Ночь перед битвой изображена тоже через противопоставление, но романтическое: «*шептанье* молитвы родины своей» — «*шум* бури». Персонажи не требуют социальных характеристик, так как они — романтические герои, способные услышать в «песне непогоды» «песнь свободы».

Выявленной А. М. Панченко национальной топике в «Бородино» соответствуют иные герои:

> Кто кивер чистил весь избитый,
> Кто штык точил, ворча сердито,
> Кусая длинный ус[3].

Топос «тишина=смирение» озвучивается не «шептаньем» молитвы, а сердитым ворчаньем. Кстати, «ворчат» герои «Бородина» не один раз[4]. В прямом выражении христианская традиция заявляет о себе в «Бородине» в одном единственном случае:

> Не будь на то господня воля,
> Не отдали б Москвы!

В то время как в «Поле Бородина» не только звучит молитва:

> Безмолвно мы ряды сомкнули,
> Гром грянул, завизжали пули,
> *Перекрестился я.* <…>
> В душе сказав: *помилуй боже!*
> На труп застывший, как на ложе,
> Я голову склонил.

Упоминание крестного знамения и формулы «помилуй Боже» говорит о том, что и «молитву родины своей» нужно воспринимать не в ключе романтическом неопределенности, а как русскую (=православную) молитву.

Высокий градус нравственно-религиозной оценки происходящего в «Бородино» спрятан. Герои сражения не молятся, не крестятся… — они дремлют, кусают ус, ворчат, точат штыки, чистят кивера… Шутливо задирают врага («Постой-ка, брат мусью!»),

в поле не сражаются, а «разгуливаются» («Есть разгуляться где на воле!»), тактическую разновидность боевых действий обзывают «безделкой» («Два дня мы были в перестрелке. / Что толку в этакой безделке?»), воинскую бдительность трактуют как «ушки на макушке»… Не стоит забывать, что все эти характеристики относятся к «могучему лихому племени» — *богатырям*!

Случаен ли в «Бородине» такой странный, на первый взгляд, образ русского богатырства? Если стихотворение посвящено передаче патриотической традиции, то почему герои-патриоты предстают погруженными в быт, то ворчащими и брюзжащими, то дурачащимися и шуткующими? Ничего подобного, кстати, и в помине нет ни в «Певце во стане русских воинов» В. А. Жуковского, ни в «Бородинской годовщине» А. С. Пушкина и других поэтических откликах на события 1812 г. Или же, по мысли Лермонтова, такие именно богатыри, не несущие в своем облике ничего богатырского и героического, и являются сами по себе национальной топикой?

Экскурс 1. «Постой-ка, брат мусью…»: лубочные герои 1812 года.

Лубочные картинки Отечественной войны 1812 года были ориентированы на простонародье, а, соответственно, и использовали топику фольклорного смехового мира. Враг в них осмеивается/уничижается/оглупляется. Уже в первом сатирическом листке, напечатанном 1 июля 1812 г. по распоряжению графа Ф. В. Ростопчина «Руской ратник Иван Гвоздила и руской милицейской мужик Долбила» (работы неизвестного автора) хорошо виден диапазон этой топики. С врагом не воюют, его даже не «бьют», а «гвоздят» и «долбят» (согласно именам персонажей); вспомним перифраз «чужие изорвать мундиры о русские штыки» у Лермонтова. Именуется враг: в третьем лице — «басурманом» («У басурмана ношки тоненки, душа коротенка»; «Вот очнется басурман, не давайся, брат, в обман»), в обращении к нему — «мусье» («Што мусье кувырнулся?») [Ровинский 1900, стлб. 452]. И ту, и другую номинацию находим и в «Бородине»; кстати, в «Поле Бородина» встречается только нейтральные наименования — «враг» и «противник».

Способы расправы с «басурманами» в лубке представляются метафорически через знаковые русские обычаи, то есть опять же через простонародную топику. Наполеона «скоблят и жарют, как в аду» в русской бане; он пляшет «под нашу дудку»; его, провалившегося в кадку с калужским тестом, угощают вяземским пряником

и «сбитнем с перцем», вскипяченном на московском пожарище [Ровинский 1900, стлб. 448]. Комическую формулу «угощения врага» (отдаленная производная от архетипической метафоры «битва — пир») использует и Лермонтов: «И думал: угощу я друга!».

Гвоздилам и Долбилам противостояли персонажи героического лубка: «Руской Курций» («Ратник Московского ополчения, жертвующий жизнию в намерении убиением избавить отечество от злобного врага Наполеона, вместо его поражает ошибкою Польского полковника»), «Русский Сцевола, лишающий себя руки, чтобы не служить Наполеону, врагу отечества...» Но в лубочной картине мира явно доминировал не мотив жертвенного подвига (в реальности войны было достаточно подвигов), а балаганное богатырство: «Русский Геркулес загнал французов в лес и давит как мух» [Кузьминский 1911]).

Один из инициаторов и организаторов лубочного производства в 1812 г. граф Федор Васильевич Ростопчиин, генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия, был и сам мастером ярмарочно-балаганного стиля. Было выпущено до двадцати «Дружеских посланий главнокомандующего в Москве к жителям ее». Приведу фрагменты первой из «ростопчинских афишек» как своего рода энциклопедии топики военного лубка, в которой можно найти практически все ее мотивы и формулы:

> Московский мещанин, бывший в ратниках, Карнюшка Чихирин, *выпив лишний крючок на тычке*, услышал, что будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился и, *разругав скверными словами* всех французов, вышед из питейнаго дома, заговорил под орлом так:
> «Как! К нам? *Милости просим, хоть на святки, хоть и на масляницу:* да и тут жгутами девки так припопонят, что спина вздуется горой. Полно *демоном-то наряжаться*: *молитву сотворим, так до петухов сгинешь*! Сиди-тко лучше дома да играй в жмурки либо в гулючки. Полно тебе фиглярить: ведь *солдаты-то твои карлики да щеголки*; ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не наденут. Ну, *где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, от щей задохнутся*, а которые в зиму-то и останутся, так *крещенские морозы поморят* <…>
> *Да знаешь ли, что такое наша матушка Москва? Вить это не город, а царство*. У тебя дома-то слепой да хромой, старухи да ребятишки остались, а на немцах не выедешь: они тебя с маху сами оседлают. А на Руси што, знаешь ли ты, забубенная голова? Выведено 600 000, да забритых 300 000, да старых рекрутов 200 000. *А все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные.* <…>
> Ну, поминай как звали! По сему и прочее разумевай, не наступай, не начинай, а направо кругом домой ступай и знай из роду в род, каков русский народ!»
> Потом Чихирин пошел бодро и запел: «Во поле береза стояла», а народ, смотря на него, говорил: «Откуда берется? А что говорит дело, то уж дело!» [Барсук 1912].

Конечно, манера «афишек» говорить «гаерским языком Петрушки» (по словам Д. Ровинского [Ровинский 1900, стлб. 452]) с ее «шапкозакидательством» ничего, казалось бы, общего с «Бородино» Лермонтова не имеет. Но разворачивается лубочная гротескная риторика в том же поле топики. Косвенно касается «афишка» и темы русского богатырства: «А все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные». В русских былинах все богатыри — побратимы (крестовые братья); ср. в «Бородине» постоянно употребляемое местоимение «мы», косвенный намек на «товарищество» («товарищей считать»).

Кроме того, затрагивает Ростопчин и еще один важный механизм русской эпической топики: богатырский дух может обнаружиться в самых неожиданных местах и в небогатырском, даже и совсем неприглядном, обличье. Герой «афишки» произносит свои патриотические речи (действительно такие, при всей их балаганной браваде) на крыльце питейного дома, да еще и «выпив лишний крючок». Фамилия его тоже «говорящая». Чихирин — от «чихирь»: «горское вино, красное, крепкое, привозимое к нам и б. ч. идущее в переделку. Вообще: виноградное сусло, еще не перебродившее» [Даль 1909, стлб. 1352]. «Чихирь и чихирник» (по словарю В. И. Даля, «беспутный пьяница, шатун и дармоед» [Даль 1909, стлб. 1352]), становящийся народным глашатаем патриотизма, вроде бы далек от «ворчащих стариков» Лермонтова, но сам принцип совмещения «высокого» и «низкого», «героического» и «будничного» явно относится к национальной топике. Ведь и читатели «Бородина», слушая рассказ «дяди», находятся в похожей с «народом» ростопчинской «афишки» позиции: «…народ, смотря на него, говорил: ‘Откуда берется? А что говорит дело, то уж дело!’» [Барсук 1912].

Экскурс 2. «Скажи-ка, дядя…»: 1812 год в солдатской памяти

Лубок плохо справляется с областью памяти, он работает в зоне игрового прогноза событий или же квазирепортажа о них. «Бородино» — это рассказ-воспоминание простого солдата, участника битвы. Как и в каких формах транслировалась солдатская память о 1812 годе, сказать сложно в виду крайней скудности источников. Из дневников и мемуаров офицеров и генералов можно лишь отчасти реконструировать «солдатский текст» Отечественной войны. Небольшое количество рассказов простых солдат — участников Отечественной войны 1812 года было записано в 1830–1840-х годах (естественно, еще до появления научных принципов фиксации

устного текста) и позже опубликовано, разумеется, в отредактированном виде. Правда, принципы эдиционной обработки текстов в дореволюционное время были другие, чем в советскую эпоху — социальное разноязычие с сохранением дискурсивных особенностей тогда умели передавать довольно неплохо. Приведу для примера два фрагмента батальных описаний из устных рассказов ветеранов Отечественной войны 1812 года.

1. «Рассказ о Бородинском сражении отделенного унтер-офицера Тихонова, записанный в 1830 г»:

> Коновницын повел нас к Багратионским шанцам часу в восьмом, коли не позднее. Подошли наши две бригады, а третья в кустах была, построились, *ударили в штыки*: Французы *заметались, как угорелые* (смеется). *Француз храбр.* Под ядрами стоит хорошо, на картечь и ядра идет смело, против кавалерии держится браво, а в стрелках ему равного не сыщешь. *А на штыки, нет, не горазд*. И колет он зря, не по-нашему: тычет тебя в руку, или в ногу, а то бросит ружье и норовит с тобою вручную схватиться. *Храбр он, да уж очень нежен* [Тихонов 1872].

2. «Рассказ Георгиевского Кавалера из дивизии Неверовского, слышанный в 1839 г., в Серпухове»:

> Я, Сударь, под Бородином мало был, потому что меня в плен взяли. Под Шевардиным мы поработали не что. Генерал наш, Неверовский, *у-ва! какой форсистый был*: *приучил нас все больше штыком работать*. Под Шевардиным настоящего распорядку не было: *Француз валит* с фронту, с левого фланга и с правого, а у нас когда-то догадались за гренадерами и конницей послать. *Отдувайся, как знаешь*. Как нас, до приходу кирасир, *потеснили шибко*, Батальонный наш *осерчал* и говорит: «Гуннство! Никакого распорядка путем не сделают, а потом *горячку и порют*!» <…> Под Бородином, как *ударили мы в штыки*, *погнали Француза* [Георгиевский кавалер 1872].

Представление о дискурсе солдатских батальных рассказов создается довольно отчетливое, и оно вполне соотносимо с лермонтовским рассказом «дяди». Бой описывается в регистре солдатского просторечия с выработанными формулами описания боя («ударили в штыки», «валит с фронту», «потеснили шибко» и т. д.) и пристрастием к фразеологизмам («заметались, как угорелые», «отдувайся, как знаешь», «горячку и порют»)[5]. И унтер-офицер Тихонов и Георгиевский кавалер из Серпухова вполне бы могли включить в свои рассказы (а, может быть, и включали!) лермонтовские формулы: «ушки на макушке», «ломить стеною», «что толку в этакой безделке» и др. Находим в рассказах ветеранов и апологию русского рукопашного боя (у Лермонтова: «…русский бой удалый, / Наш рукопашный бой!..») и даже «народную этнопсихологию» штыковой атаки.

У Георгиевского кавалера из Серпухова появляется и фигура «полковника-хвата»: «Генерал наш, Неверовский, у-ва! какой форсистый был…» Отношение к противнику — «французу», хоть и фамильярное, но более чем серьезное (в «Бородино» такое же сочетание стилевых регистров!): «француз храбр», «в стрелках ему равного не сыщешь». (И это слишком далеко от лубочной бравады «афишки» Ф. В. Ростопчина: «…ведь солдаты-то твои карлики да щегольки».) Интонационно-ритмически устные рассказы ветеранов 1812 года тоже явно перекликаются с «Бородино».

Дискурс устных рассказов простых солдат недолговечен. «Долгая память» в народной традиции (в связи с ее бесписьменностью) использует иные, более надежные, формы сохранения — фольклорные, и прежде всего эпические. Цикл народных исторических песен об Отечественной войне 1812 года довольно обширен, создавались они, очевидно, в солдатской среде. Никаких реальных батальных описаний в исторических песнях не найти — их там и быть не может. Их тема, как и главная тема «Бородина», по Л. В. Пумпянскому — «передача патриотической традиции от поколения к поколению», или, говоря по-другому, воплощение памяти об историческом событии в архетипической для национальной традиции топике — сюжетных ситуациях, образах, формулах (они встречается в былинах, исторических преданиях, древнерусских летописях и воинских повестях). Тезаурус формул исторических песен может служить красноречивым комментарием к лермонтовскому стихотворению. Враг, обуянный гордыней (как и в древнерусских текстах), именуется в них обобщенно-мифологически — «Наполеон» или «француз». Ср. в «Бородино»: «И слышно было до рассвета, / Как *ликовал француз*». Встреча врага описывается через метафору гостеприимства, формулы «угощения» и «битвы — пира»:

> За Россию, за царя, за веру нужно *гостеньку принять*,
> Как на поле славном Бородинском *поплотней дружка обнять*!
> [Исторические песни 1991, с. 593].

Кутузов в ответ на самонадеянное письмо Наполеона «нашему царю белому» «речи говорит, что в трубу трубит»:

> Мы его, собаку, встретим середи поля,
> Середи поля, середи Можайского,
> Мы поставили ему столы — пушки медные,
> Как скатерть постелем ему — гернадерушков,
> *Закусочки* ему подложим — *ядра чугунные*
> *Пойлице* ему нальем — зелен *порох*
> [Исторические песни 1991, с. 589–590].

Лермонтовское угощение («Забил заряд я в пушку туго / И думал: угощу я друга!») вполне точно соотносимо с «пойлицем-порохом» и «закусочками-ядрами». В отличие от лубочного «гостеприимство» в исторических песнях — отнюдь не балаганная игра, в пиру (= «кроволитьи») «напиваются» не только враги, но и русские. Эта трагическая амбивалентность угощения-битвы сформулирована в «Слове о полку Игореве»: «…ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую» [Изборник 1969, с. 202].

Традиционна для исторических песен и метеорологическая топика описания сражений:

> Мы из пушек-то палили,
> Ровно *туча с громом* шла
> [Исторические песни 1991, с. 591–592].

> Как не *две тученьки*, не две грозные
> Вместе соходилися —
> Как две силы-армеюшки вместе соезжалися
> [Исторические песни 1991, с. 595].

Романтическая метеорология «Поля Бородина» — буря-предвестница в ночь перед битвой — сменяется в «Бородине» фактически народной эпической формулой — наступление войск врага подобно туче:

> Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
> Французы двинулись, как *тучи*…

Атмосферные свойства битвы в исторической песне застилают и скрывают природно-космический порядок — за дымом сражения «не видать» «красна солнышка» («дым» — одна из главных характеристик боя у Лермонтова):

> Наши начали палить —
> Только *дым столбом валит*:
> Каково есть красно солнышко,
> Не видать *во дыму*,
> Во солдатском *пылу*
> [Исторические песни 1991, с. 599].

Народной исторической песне известна и топика потрясений матери сырой земли при вражеском нашествии. Это мотив народной эсхатологии, частый в апокрифах и духовных стихах; собственно, он и в исторической песне задает определенные коннотации конца света.

Выкатал француз пушки медные,
Направлял француз ружья светлые,
Он стрелял-палил в матушку Москву.
Оттого Москва загорелася,
Мать сыра земля потрясалася,
Все божьи церкви развалилися,
Златы маковки покатилися
[Исторические песни 1991, с. 607].

Интересно, что мотив «трясения» неотступно преследует Лермонтова при разработке им темы Бородина. В «Поле Бородина» романтический топос мести предстает в рамке не очень изысканной глагольной рифмовки на «-ся»:

Мой пал товарищ, кровь лилася,
Душа от мщения тряслася…

В «Бородине» появляется формула «потрясения земли», правда, замаскированная сравнением «как наши груди»: «Земля тряслась — как наши груди». Таким образом, лермонтовское описание сражения явно разворачивается в семантическом поле традиционных формул — они во многом лишаются архаического фольклорного обличья, но явно сохраняют свои смыслы и связь с архетипами. Лермонтов переводит высокую топику на солдатский простонародный язык. Или эпический сюжет пересказывается в режиме болтовни ветерана, или устное воспоминание очевидца не может обойтись без архетипических формул? Не знаю. Одно ясно, что уникальный поэтический дискурс «Бородина» создает небывалый эффект: разведенные в народной культуре «память очевидца» и «эпическая память» соединяются в одной точке. Наверное, это один из ключей к «тайне» «Бородина». Рассказать о героическом событии негероическим языком, но при этом сохранить архетипические смыслы национальной культурной памяти. Лермонтов, кажется, был убежден, что эта дискурсивная особенность тоже входит в национальную топику. Ему, без сомнения, удалось это доказать.

Экскурс 3: «Люди в наше время» и «чудо-богатыри» Суворова

Ближайшим в русской культурной истории аналогом «богатырям» Лермонтова оказываются «чудо-богатыри» А. В. Суворова. Вторая часть знаменитого «солдатского катехизиса» «Наука побеждать» (1795) — «Словесное поучение солдатам о знании для них необходимом» — оказывается и по топике, и по языку, и по интонационно-ритмическому строю красноречивым фоном рассказа лермонтовского «дяди». «Словесное поучение…» было и написано полководцем на солдатском просторечии, и впоследствии, по воспоминаниям нескольких поколений военных людей, вошло в менталитет и речевой обиход русских солдат. Суворовские «чудо-богатыри», как и лермонтовские, погружены в армейский быт, они просты и негероичны, и среди их неприятелей не только враг на поле боя, но и «богадельня», а еще излюбленные Суворовым существа-олицетворения: «Проклятая немогузнайка! намека, загадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, бестолковка» [Суворов 2010, с. 54]. Но суворовские солдаты, как и лермонтовские герои, дают «клятву верности» («И умереть мы обещали»): «Умирай за Дом Богородицы, за Матушку, за Пресветлейший дом» [Суворов 2010, с. 49], и также надеются на Божий Промысел («Не будь на то господня воля…»), что и делает их, по сути, «чудо-богатырями»: «Молись Богу! От него победа. Чудо-богатыри! Бог нас водит, Он нам генерал»; «Богатыри! неприятель от нас дрожит» [Суворов 2010, с. 54].

Лермонтовская апология штыка, сжатая в поэтические формулы («русские штыки», «Рука бойцов колоть устала», «…русский бой удалый, Наш рукопашный бой!..») фактически находит свое тактическое развертывание в «Науке побеждать»: «Коли один раз, бросай басурмана со штыка: мертв на штыке, царапает саблею шею. Сабля на шею, отскокни шаг. Ударь опять. Коли другого, коли третьего. Богатырь заколет полдюжины, а я видал и больше» [Суворов 2010, с. 48]. Но Суворов не остается в пределах тактических маневров, он создает «риторику штыка», используя и пословичный дискурс и даже прием рифмованной прозы (раешного стиха): «Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко, пуля обмишулится, а штык не обмишулится. Пуля дура, штык молодец» [Суворов 2010, с. 48].

Есть в «Науке побеждать» и топика картечи, и целый набор солдатских формул, которые потом встретятся и в «Бородине»: *ломить* (у Лермонтова — «ломи стеною»; у Суворова: «*Ломи* через засеки, бросай плетни чрез волчьи ямы! Быстро беги!…» [Суворов 2010, с. 50]); *гулять* («Есть разгуляться где на воле!» в «Бородине»; в «Науке побеждать» эта формула входит в состав описания марш-броска: «Не останавливайся, *гуляй*, играй, пой песни, бей барабан, музыка греми!» [Суворов 2010, с. 51]; обращение к солдатам — *ребята.*

Заповедь Суворова, сдерживающая боевой пыл и останавливающая энергию воинской ярости: «Вали на месте! Гони, коли! Остальным давай пощаду! Грех напрасно убивать, они такие же люди» [Суворов 2010, с. 49], — казалось бы, напрямую не просматривается

у Лермонтова. Но по тому, как предстают в стихотворении герои Бородинской битвы, мы не можем их заподозрить в одержимости воинским аффектом, в излишней ненависти и беспощадности к врагу.

Мой коллега, с которым я обсуждал идеи этой статьи, завершил ряд моих сопоставлений «Науки побеждать» и «Бородина» остроумным вопросом: «Так ‘дядя’ у Лермонтова это и есть Суворов?» Конкретно — нет, а фигурально — судя по всему, да. Формульный облик лермонтовских героев явно восходит к суворовской модели «чудо-богатырей». В «Науке побеждать» солдатская топика прогностична и педагогична, у Лермонтова она становится топикой памяти. И, наверное, в очередной раз не стоит задаваться вопросом о конкретных генетических заимствованиях, по той простой причине, что и солдаты Суворова, и герои Бородина, и, скорее всего, современная Лермонтову армейская среда были скроены в поле влияния этих «loci communes».

Фоном понимания «Бородина» оказывается не только дискурс «Науки побеждать», но и сам сохранившийся в национальной культурной памяти образ Суворова. Сочетание полководческого гения и великих побед с невзрачным, совершенно не героическим обликом и чудаческим поведением поражало современников, осталось в их записках и породило множество исторических анекдотов: «Этот полудикий герой соединял в себе с весьма невзрачной наружностью такие причуды, которые можно было бы счесть за выходки помешательства, если бы они не исходили из расчетов ума тонкого и дальновидного» [Дудовилль]. (Вне всякого сомнения, во времена Лермонтова анекдоты о Суворове активно бытовали, особенно в армейской среде.)

Очевидно, сам Суворов осознавал свое шутовство как необходимое и обязательное дополнение к полководческому таланту и победоносности подобно тому, как простота и обытовленность сочетаются с «чудо-богатырством» в его солдатах: «Хотите меня знать? Я сам себя раскрою... Друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили... Я бывал Эзопом, Лафонтеном: шутками и звериным языком говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, который благодетельствовал России, кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждая сонливых...» [Рыбкин 1874, с. 92]. Чудачества Суворова приближались в русском восприятии к облику юродивого: «Если уже знаменитый Ермолов считал Суворова юродивым, то всякому другому это тем более извинительно» [Рыбкин 1874, с. 92]. Думается, что совмещение чудачества и богатырства есть национальный

топос, подспудно преодолевающий гордыню во имя смирения. Тогда и аналогия с юродством как крайней степенью подвижнической борьбы с гордыней не кажется столь неожиданной.

Правда, романтическая эпоха попыталась создать иной, героический, облик полководца. В «Певце во стане русских воинов» (1812) В. А. Жуковского Суворов выглядит «рьяным великаном», «витязем полуночи»:

Но кто сей рьяный великан,
Сей витязь полуночи?
Друзья, на спящий вражий стаи
Вперил он страшны очи;
Его завидя в облаках,
Шумящим, смутным роем
На снежных Альпов высотах
Взлетели тени с воем;
Бледнеет галл, дрожит сармат
В шатрах от гневных взоров...
О горе! горе, супостат!
То грозный наш Суворов
[Жуковский 1999, с. 227].

Конечно, Лермонтов хорошо знал стихотворение Жуковского, как все его современники, и, хотя в «Бородине» не идет речь о Суворове, но ясно, что поэту близок не «витязь полуночи», а дурачащийся «чудо-богатырь», так как именно он соответствует ворчащему и кусающему ус «могучему, лихому племени».

«Не будь на то господня воля…»: вместо заключения

Для русской национальной памяти идеал богатырства закономерно восходит к народному героическому эпосу. По инерции сформировавшегося восприятия былин кажется, что «богатыри» и Суворова, и Лермонтова далеки от эпических героев с их монументальностью. Но это на первый взгляд, продиктованный идеологической мифологизацией эпоса, особенно характерной для советского времени. Если внимательно присмотреться к былинным текстам, то окажется, что они насквозь пронизаны иронией. Богатырям свойственно и дурачиться, и шутковать, и частенько переряживаться. Былина охотно и подробно описывают воинскую амуницию:

— Уж вы братьица мои да товарыщи!
Вы обсе́длывайте нонь да добры́х коней,
Надевайте латы вы булатныи,
На шеи кольцуги позолоцены,

Да берите палицы железныи,
Да берите сабельки вострыи,
Да берите копья немецкия,
Да берите ножи́що-чинжалищо…
[Илья Муромец 1958, с. 139].

Но вот при встрече с противником богатыри никогда не пользуются профессиональным оружием — у них в ходу «клюхи сорочинские», «шалыги подорожные» «пуховые шляпы», «колпаки земли греческой» и т. д. В одном полуразрушенном варианте былины, как будто в память о 1812-м годе, упоминается в качестве боевого оружия даже кивер:

Илья в это время россердился,
Со своей головы *кивер* свернул,
И в идолище поганое махнул,
И с него голову свернул, пристенок выломил
[Гильфердинг 1950, с. 246–247].

Илья Муромец (в былине про Калина-царя) и вовсе орудует против татар подхваченным за ноги татарином, приговаривая: «А и крепок татарин, не ломится» [Кирша Данилов 1977, с. 133]. Ироническая стихия былин в свое время вызвала особую интерпретацию былинного эпоса как поздней пародийной трансформации более архаических (и серьезных!) текстов[6]. Не буду сейчас вступать в полемику с этой точкой зрения. Важно, что образ «шуткующих» богатырей дошел до нас в записях, сделанных от сказителей в XIX–XX веках, то есть вполне можно предположить, учитывая консервативность эпической памяти, что он параллелен суворовским и лермонтовским богатырям, а точнее отражает ту же национальную топику богатырства.

В одном из сюжетных типов («Василий Игнатьевич и Батыга») былинная традиция делает следующий шаг: спасителем Киева от татарского нашествия, в случае отсутствия богатырей, оказывается Васька-пьяница, лежащий на кабаке и страдающий с похмелья. Былина четко формулирует национальный топос, перекликаясь и с суворовской, и с лермонтовской позициями: богатырь вовсе не должен выглядеть по-богатырски. Интересно, что варианты былины о Василии Игнатьевиче почти всегда имеют зачин о турах. Туры, пробегая мимо Киева, видят:

Шли мимо церкев, мимо божью тут,
Отворились ворота нынь церквеныя,

Выходила девиця душа красная,
Во руках выносила книгу божественну,
Божественну книгу Евангелье,

Турам разъясняет видение их матушка; чаще девица является «городовой стеной», а иногда (как в цитируемом варианте) Богородицей:

Да глупы туры, да дети малыя,
Не девиця-та ищэ да душа красная,
Тут шла присвята мать Богородица,
Во руках несет книгу божественну,
Она чует над городом незгодушку,
Она чует над Киевом великую
[Былины Печоры 2001, с. 137].

Таким образом, сама композиция былинного текста, совмещающая плач городовой стены (Богородицы) с подвигом найденного на кабаке богатыря, проблематизирует поле градозащитных функций. В древнерусской традиции защитниками городов традиционно выступали богородичные храмы и богородичные иконы[7]. Согласно же народной традиции главная градозащитная функция возложены на богатырей. Былина о Василии Игнатьевиче как раз и утверждает, что в отсутствии богатырской дружины богатырем может стать даже «голь кабацкая».

В русской культурной памяти градозащитной семантикой обладает еще одни герои — это Христа ради юродивые. Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы восходит к видению Андрей Юродивого: молясь в храме Пресвятой Богородицы на Влахернах, святой был удостоен увидеть, как Богородица простерла свой омофор над окруженным неприятелем Константинополем. Фактически все русские юродивые были защитниками городов, на площадях и папертях которых совершали свои духовные подвиги. Юродивые могли обретать и облик воина — Лаврентий Калужский, спасший Калугу от крымских татар в 1512 г. (на иконах он изображается с топором, насаженным на длинное топорище).

Наверное, это уже тема другой статьи. Сторонники канонических литературоведческих подходов, естественно, могут обвинить меня словами из лермонтовского же «Бородина»: «Смешались в кучу кони, люди…», — мол, нельзя в один ряд ставить «дядю» из «Бородина», суворовских «чудо-богатырей», былинного Илью Муромца… да еще и юродивых. В национальной культурной памяти — устройство которой, к сожалению, нам не очень-то понятно — все не так уж

далеко друг от друга находится. В данном случае это одно поле градозащитных функций. Лермонтовское «племя» находится в той же сфере национальной топики, где за обличьем похмеляющейся голи кабацкой скрываются богатыри, генералиссимусы поют петухами, а Христа ради юродивые спасают города от вражеских нашествий.

Примечания

[1] Здесь и далее во всех цитатах курсив мой — О. Н.

[2] Здесь и далее стихотворение «Поле Бородина» цит. по: *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч.: в 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). Изд. 2-е, испр. и доп. Т. 1. Л., 1979. С. 264–266.

[3] Здесь и далее стихотворение «Бородино» цит. по: *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч.: в 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). Изд. 2-е, испр. и доп. Т. 1. Л., 1979. С. 369–371.

[4] «Ворчали старики: / ‘Что ж мы? на зимние квартиры? / Не смеют, что ли, командиры / Чужие изорвать мундиры / О русские штыки?’».

[5] В народных нарративах фразеологизмы и прочие «заметные словечки» выполняют функцию своего рода «точечного моделирования».

[6] Концепция американского слависта Савелия Сендеровича, изложенная в начале 1990-х годов в докладе на кафедре русской литературы РГПУ им. А. И. Герцена.

[7] См. об этом: [Лихачев 1985].

Источники

Белинский В. Г. М. Ю. Лермонтов: статьи и рецензии / Ред., вступ. ст. и прим. Н. И. Мордовченко. Л.: ОГИЗ, 1941.

Борсук Н. В. Ростопчинские афиши. СПб., 1912. Цит. по интернет-изданию «1812 год» [Электронный ресурс]: URL: http://www.museum.ru/museum/1812 (дата обращения: 02.04.2014).

Былины Печоры: свод русского фольклора: в 25 т. СПб.: Наука, 2001. Т. 2.

Герцог Дудовилль. Мемуары Людовика XVIII. Людовик XVIII в России. Цит. по интернет-републикации [Электронный ресурс]: URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVIII/1780–1800/LuiXVIII/frametext. htm (дата обращения: 02.04.2014).

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1909. Т. IV.

Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.: Наука, 1977.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 1999. Т. 1.

«Изборник»: сборник произведений литературы Древней Руси. М.: Художественная литература. 1969.

Илья Муромец / подгот. текстов, ст. и коммент. А. М. Астаховой. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.

Исторические песни. Баллады / сост., подгот. текстов, вступ. ст., коммент. С. Н. Азбелева. М.: Современник, 1991.

Лермонтов М. Ю. Бородино // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. Л.: Наука, 1979. Т. 1. С. 369–371.

Лермонтов М. Ю. Поле Бородина // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. Л.: Наука, 1979. Т. 1. С. 264–266.

Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. М.-Л.: М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 2.

Пенинский И. С. Книга для чтения и упражнений в языке, составленная для уездных училищ и низших классов гимназий. СПб., 1846.

Рассказ о Бородинском сражении отделенного унтер-офицера Тихонова, записанный в 1830 г. // Чтения императорского общества истории древностей, 1872. Т. I. С. 119–121. Цит. по интернет-изданию «1812 год» [Электронный ресурс]: URL: http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Memoirs1/part1.html (дата обращения: 02.04.2014).

Рассказ Георгиевского Кавалера из дивизии Неверовского, слышанный в 1839 г., в Серпухове // Чтения императорского общества истории древностей, 1872. Т. I. С. 119–121. Цит. по интернет-изданию «1812 год» [Электронный ресурс]: URL: http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Memoirs1/part1.html (дата обращения: 02.04.2014).

Ровинский Д. Русские народные картинки: в 2 т. СПб., 1900. Т. 1.

Рыбкин Н. Краткий очерк жизни в вотчинах и хозяйственной деятельности генералиссимуса А. В. Суворова-Рымникского по вновь открытым источникам. М., 1874. Цит по: Суворов А. Наука побеждать. СПб., 2010.

Суворов А. В. Наука побеждать. СПб.: Азбука, 2010.

Исследования

Кормилов С. «Да, были люди в наше время...» Лермонтов и 1812 год // Вопр. литературы. 2011. № 6. С. 7–38.

Кузьминский К. С. Отечественная война в живописи // Отечественная война и русское общество. 1812–1912. Т. V. М., 1911. Цит. по интернет-изданию «1812 год» [Электронный ресурс]: URL: http://www.museum.ru/1812/Library/sitin/book5_13.html (дата обращения: 02.04.2014).

Лихачев Д. С. Градозащитная семантика Успенских храмов на Руси // Успенский собор Московского кремля: Материалы и исследования. М., 1985. С. 17–23.

Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984.

Пумпянский Л. Стиховая речь Лермонтова // М. Ю. Лермонтов М.: Изд-во АН СССР, 1941. Кн. I. С. 389–421. (Лит. наследство; Т. 43/44).